

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ

★

СУДЬБЫ ДЕРЕВНИ В ПРОЗЕ И КРИТИКЕ

«Будет ли предел тишине...»

Тема деревни в литературе и критике последних лет — одна из главенствующих.

Предтечей тому явился «овечкинский» период в развитии нашего очерка, когда в публицистике В. Овечкина, С. Залыгина, А. Калинина (середина 50-х годов) были явственно обнажены экономические противоречия колхозной действительности тех лет, — овечкинскую традицию продолжил Г. Радов, Ю. Черниченко, Л. Иванов, К. Буковский, И. Винниченко, П. Ребрин...

В прозе тенденция остросоциального осмысления жизни деревни проявила себя в ту пору в повестях и рассказах, принадлежащих перу В. Тендрякова, Г. Троепольского, А. Яшина и других.

Впрочем, трудно уловима эта грань между очерком и высокой прозой. Возьмем ли мы «Владимирские проселки» и «Каплю росы» В. Солоухина, или «Вологодскую свадьбу» А. Яшина, или «Деревенский дневник» Е. Дороша — произведения, где публицистичность переплеталась с проникновенным лиризмом, а документальность с обобщенностью, свойственными подлинному искусству, — все они рушили привычные представления о жанрах, возникая на стыке очерка и рассказа, публицистики и повести. Для большинства этих произведений характерны опять-таки активность и социальность авторской позиции, тенденция к непосредственному вмешательству в жизнь.

Обострение общественного интереса к теме деревни в литературе обусловило появление новых талантливых произведений. Именно в эти годы в полную меру раскрылся талант таких прозаиков, как В. Астафьев, В. Белов, Б. Можаяв, С. Крутилин, Е. Носов,

В. Лихоносов, В. Шукшин, В. Распутин, В. Цыбин.

В критике наметилась даже определенная тенденция сводить «деревенскую» прозу последних лет только к этой, по преимуществу «лирической» ее ветви, что неправильно. Ибо судьбы деревни с не меньшим напором исследовались и в прозе социально-аналитической. Назову хотя бы роман «Две зимы и три лета», повести «Пелагея» и «Алька» Ф. Абрамова, «Память земли» В. Фоменко, «Войди в каждый дом» Е. Мальцева, «Вишневый омут» М. Алексева, «Материнское поле» и «Прощай, Гульсары!» Ч. Айтматова, «Кончину» В. Тендрякова и др. Различие между двумя «ветвями» прозы, конечно, не следует представлять некоей китайской стеной — оно движущееся, взаимопроницающее. И все-таки нельзя не заметить, что большинство названных произведений социально-аналитической прозы, так же как, скажем, «Поднятая целина» М. Шолохова, в рубрику «деревенской» не помещаются — она тесна для них, поскольку в значительной части этих произведений ставятся на обсуждение проблемы и воспроизводятся характеры, выходящие далеко за пределы деревенской жизни. Это говорит, до какой степени условен термин «деревенская» проза, утвердившийся в качестве рабочего в критике последних лет.

При всех жанровых различиях и разнообразии творческих индивидуальностей, эту прозу — и «лирическую» и «аналитическую» — объединяло обостренное чувство историзма, стремление взглянуть в исторические судьбы деревни, постичь пути и закономерности ее развития от прошлого до наших дней. Исследовались исторические судьбы деревни в эпоху предреволюционную и революционную (скажем, «Сибирь» Г. Маркова, «Соленая Падь» С. Залыгина), в

пору коллективизации («На Иртыше» С. Залыгина, дилогия И. Мележа), подвиг крестьянства в трудные военные и послевоенные годы (книги Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Фоменко, М. Алексеева, С. Крутилина и др.), в пору 50-х годов («Войди в каждый дом» Е. Мальцева). В этом прежде всего значение этой прозы, так она запечатлела себя в сознании читателей, представив в полный рост крестьянина, колхозника, выдержавшего труднейшее испытание войной и экономическими сложностями послевоенных лет и ни в чем не поступившего духовно, сохранившего мощь и красоту своего нравственного характера, характера труженика, преобразователя, хозяина родной земли.

Время с особой остротой ставит вопрос о последовательности и полноте историзма нашей прозы, посвященной судьбам деревни, о правде истории, о верности жизни в этих произведениях.

Вместе с тем книги, посвященные судьбам деревни, таили и таят в себе глубоко современный интерес — при всем видимом обращении их к жизненному материалу не только и не столько сегодняшнего, сколько минувшего дня. Положительно, существует какая-то мощная наисовременнейшая потребность, вызвавшая к жизни столь богатую литературу о деревне, обусловившая читательское внимание к ней. Последние годы нашего общественного развития, как известно, вообще отмечены все более углубленным вниманием к духовным и нравственным залагам народной жизни в ее прошлых и современных проявлениях.

Вне этой активизации нашего народного самосознания невозможно правильно осмыслить и понять и современную так называемую «деревенскую» прозу. Процесс этот сложен, противоречив, он требует вдумчивого истолкования. С проявлением его мы сталкиваемся не только в литературе. Литература, и в частности «деревенская» лирическая проза (о ней-то в первую очередь и пойдет здесь речь), лишь своеобразно аккумулирует эту общественную потребность.

Для всех очевидно, что в духовной, нравственной атмосфере последних лет все насущнее, все пронзительнее звучит чувство родной земли, чувство отечественной истории. Для литературы и критики крайне важно эту реальную тенденцию не только выразить, но и исследовать, осмыслить, объяснить, понять. Найти точный, выверенный подход к ней. Поэзия природы, память

родной земли, чувство отчизны буквально пронизывают сегодня произведения многих молодых прозаиков, пишущих о деревне. Природа и история, одухотворенная красота родных мест не просто средства художественной изобразительности, но важнейший нравственный фактор в их книгах.

«И вот опять родные места встретили меня сдержанным шепотом ольшаника.— Так начинается один из рассказов В. Белова, «На родине».— Мне кажется, что я слышу, как растет на полях трава, я ошущаю каждую травинку, с маху сдергиваю пропотелые сапоги и босиком выбегаю на рыжий песчаный берег... Тихая моя родина, ты все не даешь мне стареть и врачуешь душу зеленой тишиной! Но будет ли предел тишине?..»

Русская природа для Белова, так же как для В. Астафьева или Е. Носова, прежде всего образ родины.

Пожалуй, одним из первых певцов этой темы в современной литературе следует назвать В. Солоухина, его «Владимирские проселки», «Каплю росы». В. Солоухин рассказал нам о своем родном селе, ему необходимо было рассказать о нем: «Село Олепино — одно для меня на целой земле, я в нем родился и вырос». Его книга — своеобразное поэтическое путешествие в самую дивную из всех волшебных стран — страну детства... Человек, позабывший, что было там и как было там, позабывший даже про то, что это когда-то было, самый бедный человек на земле.

«Липяги» Сергея Крутилина трогают нас тем, что в них воссоздан образ родных ему мест, поэтический образ древней, исконной земли русской. Это проза при всем ее лиризме суровая, трезво-правдивая, трудная. И в этом было движение вперед в сравнении с «Каплей росы» В. Солоухина, где социальные начала жизни несколько приглушены. Книга С. Крутилина полна раздумий о том, как вывести деревню на дорогу более счастливой жизни...

С. Крутилин, как и Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Белов, Б. Можяев, Е. Носов, В. Шукшин, мог бы с законной гордостью сказать о себе те самые слова, которые написал в рассказе «Угощаю рябиной» А. Яшин: «Я есть сын крестьянина... Меня касается все, что делается на той земле, на которой я не одну тропку босыми пятками выбил; на полях, которые еще плугом пахал, на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога».

Да не упрекну меня в излишнем социологизме, если я рискну высказать одно наблюдение касательно нашей так называемой «деревенской» прозы. Глубина и прочность ее кровной сопричастности миру народной жизни predetermined, на мой взгляд, во многом тем, что создается она — и это прямой результат Октября — в значительной степени сыновьями крестьян, плоть от плоти трудового народа, унаследовавшими великие традиции русской культуры, получившими возможность выявить свой талант. Их проза органически выражает те духовные богатства народной жизни, которые веками вырабатывались трудом человека на земле.

И если говорить о их верности залогам трудовой, народной жизни, а они эту верность и проявляют и декларируют, то начинать следует с их отношения к слову, к языку.

У Василия Белова — мастера прозы, открытого в свое время А. Яшиным, — есть рассказ с красочным названием «Колоколена», он опубликован и в последней книжке «День за днем» («Советский писатель», 1972). Это звучное прозвище носит в колхозе старая крестьянка бабушка Параня, заслужившая его за свою неугомонную и умную речистость.

Надо в совершенстве знать народный говор и крестьянскую душу, чтобы средствами одной лишь речевой характеристики с такой осязаемой достоверностью воссоздать характер крестьянской женщины. .

Слово в прозе В. Белова несет самостоятельную нравственно-эстетическую функцию: его емкая, щедрая наполненность и самобытность выражает душу народа, одухотворенность народного бытия.

Мы говорим порой о том или ином писателе: он хорошо слышит народную речь. О Белове так сказать нельзя: народный, исконно русский язык для него стихия, естество. Его рассказы завораживают пленительной вязью истинно народной речи. Они наполнены любовью к родной природе, к русской сельщине, к отчей деревне. Остро чувствует Белов запахи северного леса, скупые краски северорусского пейзажа, особый говор северорусских деревень. О деревенском труде он пишет настолько осязаемо, что кажется: человек, ни разу в жизни не державший вил, сможет, прочитав картину сенокоса в повести «Деревня Бердяйка», метать стога. Мало кто умеет в современной нашей литературе с такой ес-

тественностью и проникновенностью передавать изначальное — поэзию труда земледельца, красоту творений рук человеческих. Труд в его рассказах и в самом деле предстает как творчество, как колдовство, как таинство.

В прозе В. Белова — вспомним его «Привычное дело» — в полную силу проявилась не только любовь к миру деревни, знание ее быта, ее людей, но и боль за те несовершенства жизни, за все те тяготы экономического (и не только экономического) характера, которые переживала деревня, в особенности его северная деревня в послевоенные годы.

И все-таки — рискну высказать такое предположение — не этот мотив, не драматическое описание, скажем, всех тягот жизни Ивана Африкановича и его многочисленной семьи главное для писателя (и читателя) в том же «Привычном деле». Иначе повесть уже не жила бы: ушли в небытие тягостные обстоятельства колхозной жизни, связанные с издержками субъективизма в сельском хозяйстве, и не проблема «стожка сена», во вопрос о том, как «прокормить семью», является сегодня вопросом жизни для Ивана Африкановича.

Обнаженно-социальная проблематика повести, что называется, устарела — а повесть живет! И сохраняет свое сугубо современное звучание, берedit душу, волнует сердца!

Почему? Какой нерв гражданского, общественного, человеческого сознания берedit, тревожит проза В. Белова, в чем ее острая необходимость, непреходящий смысл?

В конечном счете в постановке того тревожного вопроса, которым, помните, обрывается лирическое признание В. Белова в верности любви его к родным северным краям: «Тихая моя родина, ты все так же не даешь мне стареть и врачешь мою душу своей зеленой тишиной! Но будет ли предел тишине...»

«Я сажусь у теплого стога, — размышляет далее писатель, — курю и думаю, что вот отмахнет время еще какие-то полстолетия и березы понадобятся одним лишь песням, а песни тоже ведь умирают, как и люди...»

Он вслушивается в сосновый шум, в шелест берез и вздрагивает, когда в зеленый шум влетает непонятный нарастающий свист, заполняющий весь этот тихий зеленый мир. Он смотрит в небо, но серебряное туловище реактивного самолета уже исчезает за горизонтом.

«Как мне понять, что это? Или мои слезы, а может быть, выпала в полдень скупая соленая роса?..»

В рассказах В. Белова (и не только его) обостренно звучит вот эта тревожная мысль: а вдруг «отмахнет время еще как-то по столетия и березы понадобятся одним лишь песням...»? Белов с пристрастием спрашивает себя: «Может быть, так оно и надо... Исчезают деревни, а взамен рождаются веселые, шумные города?..»

В этом вопросе — современное звучание прозы В. Белова, других «деревенщиков», даже если она посвящена и вчерашнему дню деревни. Это вопрос о судьбе красоты природы и сельщины, ее традиционного духовного уклада в современный век. Вопрос, имеющий принципиальное значение для последующего развития нашей культуры и цивилизации, для формирования духовного фундамента коммунистического общества. Этот вопрос ставит сама жизнь в современную эпоху, эпоху бурных социальных и научно-технических преобразований.

Нельзя недооценивать всей важности подлинно гуманистической постановки этого вопроса, вопроса о ценностях природы, труда и преобразования земли, о поэзии и красоте мира природы в наш век. Это наше, социалистическое, коммунистическое право, забота и обязанность — думать о том, какой оставим мы землю потомкам. Но столь же важно не только поставить, но и найти верный и точный, с максимальным приближением к исторической истине ответ на этот вопрос.

Наша так называемая «деревенская» проза, ее лирическая «ветвь», в известном смысле слова — эмоциональная реакция, рефлексия ума и сердца на тот намечающийся гигантский, тектонический общественный сдвиг, который именуется научно-технической революцией.

Тема «человек и природа», «человек и земля», тема «природного», «цельного» человека, тема «малой» и через нее большой Родины — вечная тема в литературе. Однако в современной прозе и публицистике она звучит с особой пронзительностью, а порой и полемической заостренностью. Иван Африканович у В. Белова — это именно «природный», цельный человек, воплощающий те общечеловеческие ценности нравственности, которые вырабатывались народом на протяжении тысячелетнего труда на земле. Едва ли не главное отношение тут — человек и природа, — помните этот мотив полного

«слияния» героя повести со снегом и солнцем, с глубоким, безнадежно далеким небом, со всеми запахами и звуками «предвечной весны». Социальные связи с миром у Ивана Африкановича едва намечены, позиция его здесь по преимуществу пассивная, страдательная. Ради максимально четкого воплощения художественной идеи В. Белов пошел даже на известную односторонность в характере своего героя.

В «Вологодской свадьбе» А. Яшина был персонаж, в чем-то предвосхищавший Ивана Африкановича, — родственник и дружка невесты, вологодский колхозник Григорий Кириллович: «Бывалый человек, с неумным озорным характером, прошедший во время войны многие страны Западной Европы как освободитель и победитель, он сохранил в памяти бесчисленное количество присловий и прибауток из старинного дружинного багажа и не пренебрегал ими».

Багаж народных присловий и прибауток у Ивана Африкановича (как и у других героев В. Белова) не меньший, а вот то немало-важное обстоятельство, что герой «Привычного дела» также прошел во время войны многие страны Европы «как освободитель и победитель», что не могло не наложить на весь его внутренний мир свою резкую печать, не сказалось в повести. И причина тому, думается, в полемичности внутреннего авторского замысла, смысл которого и состоял прежде всего в том, чтобы заслонить, отстоять от ветров века те ценности крестьянского характера, которые формировались столетиями, тысячелетиями общения с природой, земледельческим трудом. Эти ветры века, высекающие в сердце прозаика столь резкую тревогу за близкие ему ценности, связаны в конечном счете с гигантским ускорением научно-технического процесса, который и в деревне, в особенности в условиях коллективизации, дает свои плоды.

Когда «Привычное дело» только появилось на свет, критики (и я в том числе) большее внимание обращали на верхний срез повествования, связанный с экономической деревни, трудным экономическим положением северного крестьянства в сороковые и пятидесятые годы. Но с отдалением во времени повесть, поставленная в контекст других произведений В. Белова («За тремя волоками», «Плотнички рассказы», «Бухтинны вологодские», «День за днем»), и не только его («Последний срок» В. Распутина, некоторые повести В. Лихоносова), с

возрастающей резкостью обнажает свой глубокий идейно-художественный пафос. Суть его — судьба деревни и ее ценностей в XX веке в условиях глубочайших социальных и научно-технических сдвигов и изменений. И более широко: соотношение природы как гуманистической человеческой ценности и «второй природы», то есть социально-технической среды, созданной самим человеком.

Постановка этого круга вопросов нашей литературой закономерна и своевременна. Все возрастающее ускорение процессов научно-технической революции и связанные с этим урбанизация жизни, интенсификация труда и, в частности, индустриализация земледелия исторически неизбежны, необратимы, для человечества — обязательны. Без этого человеческое общество ни развиваться, ни выжить попросту не в состоянии. Во всем мире идут эти процессы и с ними — коренное изменение всего облика, уклада сельщины.

Современная экономическая политика партии в деревне сопрягает резервы научно-технической революции в нашем обществе с огромными возможностями социалистического земледелия. Это уже дало, как известно, некоторые экономические и социальные результаты.

Индустриальный, экономический, исторический прогресс деревни с особой остротой ставит перед ней сегодня проблему духовных и нравственных ценностей. Забота о родной природе, о ее лесах и лугах, забота о том, чтобы березы в будущем были так же нужны людям, как и песня, — дело партийной и государственной важности.

Сложен комплекс проблем, которые стоят перед современной деревенской прозой: социальные, научно-технические и психологические изменения, с предельным ускорением совершающиеся в сегодняшней колхозной деревне. Готова ли литература наша — не только документальная, очерковая, но и художественная — к осмыслению этого круга проблем во всей их реальности и остроте? И самое главное: достаточно ли высок уровень ее социально-философского мышления для правильного, исторически истинного решения их?

Об этом говорили недавно в диалоге «Неизбежность гармонии» на страницах «Литературной газеты» Чингиз Айтматов и Леонид Новиченко: «Литература, как и вся система нашего обществен-

ного воспитания, обязана способствовать тому, чтобы в отношении к природе быстрее преодолевались проявления потребительской, близоруко-прагматической психологии, вред от которой увеличивается по мере роста технической вооруженности современного человека. На смену этой психологии придет — и в нашем обществе уже приходит — новое отношение к природному миру, отношение не только подлинно хозяйское, но и дружеское, полное умной заботы о живой природе как общественном богатстве, которое надо не только сохранить, но и умножить». Авторы диалога резко подчеркивают новое качество отношения к природе, определяемое нашим общим революционно-преобразовательным отношением к жизни, необходимость «синтеза, сочетающего и активно-творческое отношение к природному миру, и «старую» способность наслаждаться его поэзией, его вечной красотой, уметь, если хотите, быть добрым, отзывчивым его созерцателем».

Разрыв этого диалектического единства, преувеличение одной из его сторон за счет другой приводит к нарушению гармонии человека и природы, оборачивается либо голым, прагматическим технократизмом, либо сентиментально-романтическим консерватизмом, проявляющим себя в отрицании социального и научно-технического прогресса в принципе. Между тем, справедливо говорили участники диалога, преобразующая роль человека, революционное, подлинно хозяйское отношение человека к окружающей среде — фактор наиглавнейший, ибо человек не может быть только созерцателем природы.

Поставив нравственные искания современной литературы (не только «деревенской», ибо скажем, прозу Ю. Казакова, Г. Семенова да и В. Лихоносова впрямую к ней не отнесешь) в этот социально-философский контекст эпохи, мы глубже и полнее их поймем. Об этом выразительно говорил в дискуссии «Современная деревня и литература» Федор Абрамов, подчеркнувший социальный аспект той же самой проблемы: «Столь пристального внимания именно к нравственным истокам характера человека деревни литература еще не знала. И объясняется это особенностями переживаемого нами момента, вполне сопоставимого по своим масштабам с периодом коллективизации». Сказав о том, что речь сегодня идет «об изменении всего облика крестьянской России», Ф. Абрамов далее продолжал:

«Круто меняется и сам крестьянин — тот крестьянин, который победил, пойдя за партией большевиков и рабочим классом, в гражданской войне, тот крестьянин, который вынес основное бремя войны Отечественной, тот крестьянин, чьим трудом была восстановлена страна после войны. Уходят эти вот люди, эта вот деревня, и естественно, что писатель сегодня пристально всматривается: а что же уходит, как все это было? И этот интерес нельзя объяснить простым пристрастием к патриархальной старине, — исследуются проблемы... нашего национального развития, наших исторических судеб» («Вопросы литературы», 1971, № 8).

Право и обязанность литературы — понять, осмыслить, запечатлеть на полотне и то, что уходит, и то, что нарождается. Но здесь важна позиция писателя! Будет ли она не только объемной, но и попутной историческому развитию, стремлениям и чаяниям крестьянства, всего советского народа или же ретроспективной, как говорил В. И. Ленин, сентиментально-романтической? В первом случае литература даст реальную истинную картину исторических судеб нашей деревни в ее революционном развитии, правдиво, трезво воссоздаст деревню старую, уходящую, бережно отнесется к ее подлинным, гуманистическим, природным ценностям и вместе с тем откроет новые типические характеры и обстоятельства, выражающие жизнь в динамике ее развития. Во втором — картина жизни будет смещена, искажена, сдвинута в прошлое, представленное в явно идеализированном, идиллическом, сентиментально-романтическом свете.

Выработка точной писательской позиции здесь происходит в борьбе и полемике с обеими крайностями — с односторонним, плоскостным, нигилистическим отношением к духовным богатствам природы, к ценностям трудовой крестьянской жизни, отношением, игнорирующим ленинский взгляд на крестьянина, в котором Ленин видел не только собственника, но и труженика, а также и со столь же метафизическим, иллюзорным и плоскостным «пейзанским» взглядом на жизнь деревни, идеализирующим патриархальные формы ее прежнего бытия, абстрагирующимся от социальных, классовых противоречий крестьянства, от современной нови деревни.

Обе эти крайности противоречат коренным традициям русской и советской литературы, сочетавшей любовь к народу, к

крестьянству с предельно трезвым, глубоко правдивым воспроизведением жизни, быта, характеров его.

Начало спора

Начало нынешним спорам о деревне положила, пожалуй, известная статья В. Солоухина «Диалог», опубликованная «Литературной газетой» в декабре 1964 года. Ему отвечали там же в статьях «Продолжим диалог» и «О хороводах и дне нынешнем» Б. Можаяев и А. Борщаговский. Вспомним этот спор.

В своей статье В. Солоухин вел диалог с воображаемым собеседником. «Не так давно в разговоре с одним моим товарищем я высказал мысль, что духовный уровень нашей деревни поднялся на неизмеримую высоту, — начинает В. Солоухин свой «Диалог». — Я сказал об этом и не ожидал никакого возражения». Но возражение последовало, последовал вопрос: что понимать под «неизмеримой высотой духовной жизни деревни»?

«— То есть как это что? — удивился В. Солоухин. — Это настолько элементарно, что, право, не стоит и говорить. В каждом доме радио, в каждом доме радиолы. В некоторых домах телевизоры, много газет, клубы, велосипеды, комбайны, тракторы, рейсовый самолет садится в шести километрах от села.

— Наверное, мы говорим о разных вещах, — возразил ему воображаемый собеседник. — Очень часто ставят знак равенства между техническим прогрессом и духовной культурой. Но это разные вещи...»

Тогда автор попросил своего собеседника «сформулировать, как он понимает проблему нашего разговора.

— Охотно, — ответил тот. — Под духовной жизнью я понимаю красоту, которой окружает себя человек, проникновенное понимание этой красоты, глубокую радость от ее понимания. Пуще же всего — активное участие в создании красоты. Именно не только восприятие, но и соучастие, а может быть, даже чистое творчество.

— Ну и что же?

— Не спешите, я не договорил до конца. Посмотрим теперь, как подходят под мое определение выставленные вами духовные категории. Ну, велосипеды с автомобилями, пожалуй, отпадают сами собой. Газета — все-таки тоже не эстетическая категория. Сказать ли вам, что радио, телевизор и радиолы — это еще не вся

духовная культура?» Столь же сдержанное отношение собеседник В. Солоухина проявил и к кино, которое, на его взгляд, «рассчитано лишь на восприимчивую функцию зрителя». То же самое можно сказать и о книге: она, по этой логике, так же рассчитана лишь «на восприимчивую функцию» читателя.

В чем же должна проявляться тогда «активная духовная жизнь» народа? На взгляд собеседника В. Солоухина, с которым, как выясняется, солидарен и автор,— в одном: в «активном участии в создании красоты».

«Кто создал замечательные, поражающие весь мир красотой многоголосые русские песни? Народ, простые труженики, о духовной жизни которых мы сейчас говорим. Они пели всякий раз, когда собирались вместе на посиделках, на сговорах, на свадьбах, по дороге на сенокос, в праздники за столом, на улицах, водя хороводы. Пели пряхи, ямщики, матери над колыбелями, рыбаки на веслах, бурлаки. Короче говоря, пели все. Мало того, что пели,— сочиняли. Я считаю, что в этом заключается элемент активной духовной жизни деревенского человека. Он окружал себя красотой, сам ее создавал, сам ею активно пользовался.

И вот вместо того, чтобы создавать и соучаствовать, то есть в нашем случае артистически петь и наслаждаться пением, все сидят и слушают патефон с заграничными пластинками. Разве это не подмена активной духовной жизни?»

«Итак, песня, одежда, нарядная национальная одежда, уникальная вышивка, уникальные кружева, русская сказка, фольклор и, наконец, обряд», обряд свадебный или, к примеру, хоровод,— в этом должна в первую очередь проявляться, по мнению писателя, активная духовная жизнь современной деревни.

На первый взгляд программа во многом притягательная. Худо ли: деревня, в которой только и делают, что пляшут и поют, водят хороводы в национальных одеждах на зеленом лугу, а по вечерам рассказывают сказки, занимаются резьбой по дереву, плетут кружева... Может быть, именно так жила русская деревня в прошлом?

Чтобы внести в это представление некоторый корректив и приблизить его к реальной исторической действительности, обратимся к Герцену, которому не откажешь ни в знании, ни в сочувствии миру рус-

ской деревни. Его творчество во многом— страстное признание в любви к русскому крестьянину, в котором он видел главное действующее лицо истории. Вот что писал он о прославленных русских народных песнях: «Русский крестьянин только песнями и облегчал свои страдания. Он постоянно поет: и когда работает, и когда правит лошадыми, и когда отдыхает на пороге избы. Отличает его песни от песен других славян, и даже малороссов, глубокая грусть. Слова их — лишь жалоба, теряющаяся в равнинах, таких же беспредельных, как его горе, в хмурых еловых лесах, в бесконечных степях, не встречая дружеского отклика. Эта грусть — не страстный порыв к чему-то идеальному, в ней нет ничего романтического, ничего похожего на болезненные монашеские грезы, подобно немецким песням,— это скорбь сломленной роком личности, это упрек судьбе, «судьбе-мачехе, горькой долюшке», это подавляемое желание, не смеющее заявить о себе иным образом, это песня женщины, угнетаемой мужем, и мужа, угнетаемого своим отцом, деревенским старостой, наконец — всех угнетаемых помещиком или царем; это глубокая любовь, страстная, несчастливая, но земная и реальная...

В печали или буйном веселье, в рабстве или анархии русский жил всю жизнь, как бродяга, без очага и крова, или был поглощен общиной; терялся в семье или ходил свободный среди лесов с ножом за поясом. В обоих случаях песня выражала ту же жалобу, то же разочарование: в ней глухо звучал голос, вещавший, что природным силам негде развернуться, что им не по себе в этой жизни, которую теснит общественный строй».

Я привел столь обширную выписку из работы А. И. Герцена «О развитии революционных идей в России» ради того, чтобы читатель воочию увидел, каким может быть разным подход к «поражающим весь мир красотой многоголосым русским песням».

Это различие в подходе к миру крестьянской жизни обнаружилось после опубликования солоухинского «Диалога» сразу же: в «Литературной газете» появились возражения В. Солоухину Б. Можаяева и А. Борщаговского. Не принял «Диалога» и покойный Александр Яшин, всегда относившийся к творчеству В. Солоухина с уважением и любовью. «За этим — неправда, не

этого ждет сегодня деревня, не о том печется, не к тому стремится, другого ей недостает!..» — говорил он.

В архиве А. Яшина хранятся номера «Литературной газеты» со статьей В. Солоухина и ответами на нее Б. Можаяев и А. Борщаговского, испещренные яшинскими пометками. Пометки эти чрезвычайно интересны и знаменательны. А главное, как и весь спор, удивительно современны.

А. Яшин, судя по этим пометкам, полностью солидаризировался с оппонентами Солоухина, ему возражавшими. Его внимание привлекает система аргументации Можаяева и Борщаговского в их споре с Солоухиным. И прежде всего их мысль, их забота о достатке в деревне — это слово А. Яшин подчеркивает и ставит на полях два восклицательных знака. Отчеркивает он и рассказ Б. Можаяева о двух соседних колхозных хозяйствах — богатом, где сплошь новые пятистенки и клуб большой и где люди поют. Да как поют!.. И бедном, где в середине августа трава все еще не кошена... «Какие уж тут песни! — подчеркивает А. Яшин заключительную фразу. — Не будем наивными, скажем прямо: любая культура прежде всего материальна».

Дважды, зеленым, а потом красным карандашом, подчеркивает он и отделяет еще двумя жирными скобками на полях это место в статье Борщаговского, в котором говорится: «Расписные деревянные ложки, так нравящиеся иным горожанам и приезжим туристам, по моим наблюдениям, оставляют равнодушными жителей деревень. Жизнь заставляет их, жителей деревень, пока еще больше думать о том, чем эта ложка наполнится».

Не надо забывать — завязалась эта дискуссия в декабре 1964 года, в самый канун мартовского Пленума ЦК КПСС, когда экономическое положение деревни во многих областях страны было трудным. Для Яшина с его социальным пафосом отношения к жизни была неприемлема и казалась несвоевременной забота Солоухина в ту трудную для села пору об играх, хоровах, песнях, причетах — при умолчании об экономических трудностях жизни деревни. В этом были близки Яшину и Можаяев и Борщаговский, решительным образом оспарившие самое представление о духовной жизни села и путях

движения к ней, которые предлагались Солоухиным.

«Видите, как все просто (здесь и далее подчеркнуто Яшиным. — Ф. К.)... Если вы научились понимать красоту или собирать старинную крестьянскую утварь, вы, стало быть, духовной жизнью обеспечены. А как же быть тогда с такими категориями, как нравственность, любовь, понятия о добре, о долге?.. — задавал вопрос Б. Можаяев. — Я, разумеется, не против уникальных кружев или красивой национальной одежды. Но писать о духовной жизни народа, о его нравственном облике следует, не глядя на мир сквозь уникальные кружева, не умиляясь при виде патефона или громкоговорителя, а трезво взвешивая реальную действительность».

«Справедливо протестуя против тех, кто ставит «...знак равенства между техническим прогрессом и народной культурой», — пишет А. Борщаговский, — В. Солоухин несколькими абзацами ниже совершает не меньший грех, сводя духовную жизнь к понятию красоты, тем самым неосмотрительно и несерьезно обуживая область духовной жизни, духовного развития народа... В. Солоухин на первый взгляд оказывается величайшее доверие деревенскому человеку — ждет от него сочинительства, «чистого творчества», «проникновенного понимания красоты», на деле же он невольно игнорирует и самую жизнь, и кровные интересы, и нужды этого самого деревенского человека. Ему люб деревенский мир как некий обособленный, навный, нетронутый, патриархальный мир остановившейся духовной жизни, а не трудная и прекрасная жизнь, развивающаяся в шаг со всей страной... Непростительно игнорировать действительную жизнь народа!»

Я намеренно с такой щедростью цитирую эту, казалось бы, давнюю дискуссию — она освещает весь последующий спор о судьбе деревни. В этом споре своим творчеством принимал участие и А. Яшин. Самобытный, глубокий талант его, на мой взгляд, пока недооценен нашей критикой. По мере движения лет социально-философский и нравственный смысл его прозы и стихов будет звучать все явственнее и безусловнее, а главное — современнее.

В цикле лирических миниатюр «Вместе с Пришвиным» А. Яшин писал: «Он дружил

с природой не заискивая, без низкопоклонства, дружил на равных началах, и природа ничего от него не прятала».

А. Яшин хотел бы, чтобы так же дружили с природой все люди. На худой конец — хотя бы его городские дети. Его рассказ «Угощаю рябиной», написанный им в 1965 году, — глубоко личностное повествование о наивной попытке писателя «докричаться» до них, выросших в городе детей, да и до всех людей, «доказать им, что деревенское детство не только не хуже, а во многих отношениях даже лучше городского». Не рассказ, а своего рода лирическое размышление на тему, чрезвычайно близкую и важную для него и, кстати, во многом перекликающуюся с «Диалогом» В. Солоухина, размышление о деревенской России и низкий писательский поклон ей.

Поклон и вопрос. Вопрос, адресованный времени, детям и самому себе: «Дело в том, что я был и остаюсь деревенским, а дети мои городские и что тот огромный город, к жизни в котором я так и не привык, для них — любимая родина. И еще дело в том, что я не просто выходец из деревни, из хвойной глухомани, а я есть сын крестьянина, они же понятия не имеют, что значит быть сыном крестьянина. Поди втолкуй им, что жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей родной деревни».

Что же вмещает в себя, что будоражит сердце писателя на той земле, где он «не одну тропку босыми пятками выбил»? Забота его земная и вполне реальная.

Ему не все равно, чем засеют землю в его колхозе в нынешнем году, и какой она даст урожай, и будут ли обеспечены на зиму коровы кормами, а люди хлебом. «Не могу я не думать изо дня в день о том, построен ли уже в моей деревне навес для машин или все еще они гниют и ржавеют под открытым небом, и когда же, наконец, будет поступать запчасти для них столько, сколько нужно, чтобы работа шла без перебоев, и о том, когда появятся первые проезжие дороги в моих родных местах, и когда сосновый сруб станет клубом, и о том, когда мои односельчане перестанут, наконец, глушить водку, а женщины горевать из-за этого».

А еще: сколько талантливых ребятишек растет сейчас в моей деревне и все ли они выйдут в люди, заметит ли их вовремя кто-нибудь и кем они станут?..»

Как видите, отношение Александра Яшина к родной северной деревне — глубоко и активно социальное, оно объемлет все стороны реальной, а отнюдь не иллюзорной, мечтательной жизни колхозного села. Это отношение кровной, жизненной сопричастности.

В 1962 году, том самом, когда была написана его «Вологодская свадьба», он пишет стихотворение «В бору случилось невозможное». Что же это — «невозможное» для его родной северной глухомани? «В Блауднове появилось радио — поет, играет, митингует. И до чего всех это радует, и как волнует!..»

«Народ — творец и хранитель народного искусства, а не просто радиослушатель и телезритель», — заканчивал В. Солоухин свой «Диалог», отстаивая ту мысль, что радио — не более чем заменитель, суррогат активной духовной жизни народа.

«...Огненные стала небогатая изба, где столько лет я прожил, душе моей, навек засватанной, еще дороже, — завершал А. Яшин стихотворение «В бору случилось невозможное». — И снова верится и чудится, что жизнь идет не стороною: когда-нибудь, наверно, случится все остальное. Надо ли говорить, что за этими безыскусными, предельно искренними строками — подлинная любовь к земле, глубокое знание ее нужд и чаяний, что устами Яшина говорили сами жители вологодской деревни Блаудново».

Диалог Яшина и Солоухина — неосознанный, а порой и осознанный — много дает для понимания последующих путей и противоречий так называемой «деревенской» литературы. Этот диалог, пожалуй, с наибольшей отчетливостью и резкостью выявлял зарождение, взаимопроникновение и одновременно взаимоотталкивание двух тенденций в ее развитии, двух оттенков в подходе литературы (и критики) к жизни деревни, двух начал социально-философского мышления.

Мало кто знает и помнит, что в «Диалоге» В. Солоухин напрямую касался и «Вологодской свадьбы» А. Яшина. — сам А. Яшин в статье В. Солоухина подчеркнул, выделил в рассуждении о красоте старинного свадебного обряда следующие строки: «А то мне недавно рассказали, как жених за невестой приехал — на чем бы вы думали? — на самосвале! Представьте, что вместо свадебного поезда (лошади, украшенные лентами, цве-

тами и бубенцами) жених пожаловал бы на навознице, то есть на телеге, на которой возят навоз. Его прогнали бы от ворот... В этой истории самое неприятное не самосвал, а то, что все отнеслись к этому спокойно, как будто бы так и надо...»

Эту историю рассказал в «Вологодской свадьбе» А. Яшин: «Жених, сваха, тысяцкий, дружка и все гости со стороны жениха приехали за невестой на самосвале: другой свободной машины на льнозаводе не оказалось. В кузове самосвала толстым слоем лежало свалывшееся за сорок километров желтое сено...» — начинал А. Яшин этот рассказ. И все, в самом деле, отнеслись к этому совершенно спокойно — потому прежде всего, что, как выяснилось по ходу дела, на то были свои, вполне уважительные причины: в первую очередь — огромные расстояния при северном бездорожье.

В свое время «Вологодская свадьба» была подвергнута критике за то, что в ней воспроизводились те недостатки в жизни северной деревни, которые были рождены бедами субъективизма и изжиты после мартовского Пленума ЦК КПСС (1965), — о том, в какой степени была справедлива эта критика, подробно писал Г. Радов в журнале «Журналист» и в книге «Кого люблю» («Советская Россия», 1971), к этим источникам я и отсылаю читателя. Меня же, как и в случае с «Привычным делом» Белова, интересует сейчас не злободневно-социальное содержание «Вологодской свадьбы», прикреплявшее ее к исторически преходящему моменту, но непреходящий социально-философский смысл этого произведения. А смысл этот, легко обнаруживающийся при внимательном прочтении, и заключался как раз в постижении судеб патриархального деревенского уклада в современных условиях жизни. Писатель-реалист, в совершенстве владевший бытописательным рисунком, А. Яшин воссоздал в своем, как сказали бы в прошлом веке, «физиологическом очерке» предельно точную, документальную, почти фотографическую картину деревенской свадьбы, которая играет в условиях современной северной деревни, но еще во многом по старинному обычаю. Очерк этот — художественный документ времени, свидетельствующий, сколь причудливо переплеталось

еще десятилетие назад в сузёмной северной глухомани старое и новое в быте деревни, как само движение действительности неудержимо взрывало изнутри старые обычаи, прежний уклад крестьянской жизни.

«Я уже не очень верил, что сохранилось что-нибудь от старинных свадебных обрядов, и потому не особенно рвался за тысячу верст киселя хлебать, когда получал время от времени приглашения на свадьбу», — приступает А. Яшин к рассказу об этом знаменательном событии в жизни его племянницы Гали из далекой вологодской деревни, сразу же обнаруживая свой особый, писательский интерес.

Сама Галя работает на льнозаводе, там-то она и нашла своего жениха. «Шибко далеко!» — горюет мать невесты Мария Герасимовна. — «Сорок километров — штука ли!»

«Как будете свадьбу справлять — по старинному или по-новому?» — спрашивает ее писатель.

«Какое уж по-старинному, ничего, по-ди-ко, не выйдет», — отвечает Мария Герасимовна, — да и по-новому тоже не свадьба», — заключает она и затем начинает рассказывать, как все должно быть, чтоб по-хорошему...

«— А невеста плакать должна?»

— В голос реветь должна, как же! Еще до приезда жениха соберутся подружки и начнут ее отпевать под гармошку, все-таки на чужую сторону уходит.

— Она же там работает три года?

— Мало ли что работает, а все чужая сторона. Да и заведено так: родной дом покидает.

— Не умею я реветь, — испуганно говорит Галя, — да и Петя не велел.

— Мало ли что не велел, а пореветь надо хоть немного...

— Не умею я реветь, — повторяет невеста.

Так с первых страниц этой документальной повести, где изменены лишь название деревни да имена, обнаруживается противоречие между самыми добрыми пожеланиями матери невесты, «чтоб все было по-хорошему», то есть «по-старинному надо бы!», и реальной действительностью. Невеста уже три года как живет не дома, а на льнозаводе, там она выбрала себе жениха, и оплакивать свое замужество, на чем и построен свадебный обряд, ей не хочется, да и «Петя не велел».

Свадьба идет своим чередом и вроде бы по обычаю: играет гармонист, поют жалостливые частушки, вот только со слезами у Гали никак не получается. И тогда приглашают причитальщицу-плакальщицу, соседку Наталью Семеновну, которая одна на всю деревню все причеты, «красоту» всю помнит, знает не только обряд, но и старинные свадебные песни. «И хоть пела она протяжно и красиво,— рассказывает Яшин,— и, казалось, изба стала просторнее, потолок поднялся, и сарафаны да кофты запестрели еще ярче, оказалось, что вряд ли хоть одна из девушек знала эти горькие старинные свадебные причеты». А невеста просто забыла о себе, растерялась, столь необычными показались ей эти Натальины плачи. Да и сама плакальщица «увлеклась, распелась, а все нет-нет да и пояснит что-нибудь: так мало, должно быть, верила она, что содержание старинного причета понятно всем нынешним, трясоголовым...», и вообще воспринимала все это не всерьез, а лишь как игру, в которой ей, старой причитальщице и рассказчице, отведена главная роль...

Сетовать ли на это или попытаться понять, почему так? Понять хотя бы ради того, чтобы отделить в обрядах и обычаях народных живую воду от мертвой, чтобы, прислушиваясь к естественному течению народной жизни, не уподобляться причитальщицам и вопленицам по покойным, а хранить, оберегать и развивать в ней все живое, органически влияющее в сегодняшний день...

Не по чьему-то злomu наущению или указу исчезли из памяти народной, если иметь в виду молодое поколение крестьян, старинные свадебные причеты,— что-то изменилось, стало быть, в жизни, если современная невеста в деревне ли, в городе ли не хочет горестно оплакивать свое замужество, по-старинному причитая. Изменилось прежде всего экономическое, социальное положение той же невесты Гали из «Вологодской свадьбы», равно как и ее нравственное, эстетическое чувство. Плохо это или хорошо?..

С абстрактно-эстетической, этнографической точки зрения, может быть, и плохо. Направляясь по морозцу, по лесной дороге на машине доигрывать свадьбу к жениху, А. Яшин, как он пишет, «ехал и твердил про себя пушкинские строки: «Колокольчик однозвучный утомительно гремит»,

«До чего же все-таки не хватает колокольчиков!» — с затаенной, чисто яшинской усмешкой заключает он. Но что поделаешь: «Не на грузовики же, не на самосвалы же свадебные их навешивать?..»

Ему, деревенскому человеку, конечно, близки и эстетика старинного обряда свадьбы, и звон колокольцев, и старинная резная прясница, и берестяная солоница, с которой он в молодости ходил на сенокос. Отлично знает он и цену северной резьбы по дереву, вышитых платов, вологодских кружев.

Но он помнит и другое. Что в реальности стояло за горестными причетами, которые испокон веку пел русский народ на свадьбах; сколько труда и пота отпечаталось на этой отлакированной временем и руками крестьян резной пряснице столетней давности; что означали в деревне лапти, которые Яшин сам умел плести и сам когда-то носил.

Сермяжная и лапотная Русь! Он ее и такую любил, но считал, что не сермягой и лаптями в ее истории надо гордиться и умиляться.

А. Яшин — писатель, которого не урекнешь в лакировке действительности. И в «Вологодской свадьбе» представляла жестокая, бескомпромиссная правда жизни северной деревни тех трудных для нее лет. Однако эта правда поверяется другой правдой — правдой того прошлого русской деревни, которое вовсе не было сплошным хоромом с песнями да плясками на зеленом лугу.

Кто-кто, а уж Яшин-то, знавший не только все хорошее, но и все плохое и жестокое в прежней крестьянской жизни («Семья наша постоянно бедствовала, и мне рано пришлось начать работу в полную силу», — напишет он впоследствии в автобиографии), как никто отдавал отчет в реальных тяготах прежнего крестьянского быта, не отделяя его эстетику от условий труда и жизни народа. Он никогда не превращал любовь к народу, любовь к России в одностороннюю доктрину и глубоко иронически относился к лапоткам в гостинных и новомодному туризму по северным местам.

Он знал: да, за годы векового существования в русской деревне сложилась своя духовная культура, бытовой, нравственный и эстетический уклад. В нем было много противоречивого, темного, заскорузлого — то, что В. Солоухин в «Диалоге» благоразум-

но обходил, — но было немало и прекрасного, светлого, была высокая поэзия, естественность, цельность, красота. Она жила и в народных обычаях, и в фольклоре, и в народном костюме, действительно очень разнообразном по губерниям и народностям, и в художественных ремеслах.

Он также тревожился за уходящие, исчезающие ценности народной жизни, выработанные в вековечном общении человека с природой, землей.

И потому-то ему было «жаль иногда своих детей. Жаль, что они, городские, — писал он в рассказе «Угощаю рябиной», — меньше общаются с природой, с деревней, чем мне хотелось бы. Они, вероятно, что-то теряют из-за этого, что-то неуловимое, хощее проходит мимо их души».

И в «Вологодской свадьбе», написанной в 1962 году, и в рассказе «Угощаю рябиной», написанном в 1965 году, А. Яшин, пожалуй, первым в нашей литературе поставил с такой остротой вопрос большого философского звучания о противоречии между человеком и природой в век научно-технической революции, о путях разрешения этого противоречия. Вопрос этот многопланов. Очевидно, что с ускорением научно-технического прогресса все большее количество людей с неизбежностью будет отдаляться от природы — могучего духовного и эстетического врачевателя и воспитателя душ человеческих, — замыкаясь в искусственной, созданной человеком среде. И второй план проблемы: сам труд на земле, земледелие, крестьянствование все в большей мере будет приближаться в современных условиях к труду индустриальному. Как это скажется на душе земледельца, на красоте поэзии земледельческого труда и быта?

Собственно, та же самая тревога, в иной форме высказанная, прозвучит позже и у Солоухина.

Так что же, повернуть жизнь вспять? Спасти, пока не поздно, прежний духовный и бытовой уклад деревенской жизни — остановись, мгновенье, ты прекрасно, коль скоро существовало на земле не один век?!

В том-то и суть внутреннего спора А. Яшина с этой наивно-сентиментальной, а в конечном счете консервативной точкой зрения, что, по его глубочайшему убеждению, старый уклад жизни родной ему сельщины был далеко не прекрасным, что останавливать движение жизни невозможно да и не нужно, что беды северной деревни, описанные, в частности, и в «Во-

логодской свадьбе», проистекают не оттого, что она отошла от прежней жизни, но медленнее, чем хотелось бы, приближается к новой. Не вследствие, но от недостатка развития новых, социалистических начал, на его взгляд, страдало десятилетие назад яшинское Блаудново, вся наша северная деревня.

Главная боль «Вологодской свадьбы» не в том, что уходят из жизни прясницы и веретена, но в том, что не пришла еще большая, подлинная культура в том количестве и качестве, в каком жаждет его родное село.

Описывая жизнь деревни, он не проходит ни мимо открыток со смазанными нарумяненными личиками в сердечках, с надписями: «Люби меня, как я тебя», ни мимо грубости деревенских нравов. Чего стоит пьяный кураж жениха, других местных «выпивох» или история взаимных жалоб на своих мужей, завязтых пьяниц и дебоширов, двух подруг по несчастью — Груни и Тони. И пьяный жених, и пожилой колхозник, который хвалится своими пластмассовыми, недавно вставленными зубами — «почокается со всеми, выпьет стакан пива, вынет челюсть, всем покажет ее и опять вставит», — все это, конечно, далеко от благолепия в описании деревенской жизни. Но что поделаешь, как бы говорит А. Яшин, если она такая. И любит он ее, болеет сердцем — за такую. И страстно хочет, чтобы она стала иной.

Не Наталья Семеновна с ее старинными «волокиньскими» песнями и причетами — положительный герой «Вологодской свадьбы». А герой такой у Яшина в этом повествовании есть. Кто же? Народ? Да, народ. Только ведь проза, как и «любой пир — прежде всего люди (цитирую А. Яшина). Человеческие характеры легко и свободно раскрываются на пире». И так же легко и свободно раскрываются они в подлинной, большой прозе.

«Среди мужчин на пире очень скоро, — замечает А. Яшин, — объявляются типично русские правоискатели, ратующие за справедливость, за счастье для всех. Догадывается от них и немцам, и американцам, и туркам, но больше всего, пожалуй, догадывается самим себе, своим соотечественникам. Таким людям не до веселья, не до песен, не до плясок. Они обличают, разоблачают, требуют возмездия, протестуют и все время спрашивают: что делать, как быть, кто виноват?..» — с усмешкой повествует А. Яшин, готовя нас к встрече с та-

ким именно характером, близким ему по духу, по натуре и по жизненным позициям.

Такой человек, любимый герой автора, в «Вологодской свадьбе» — шофер лесовоза Василий Прокопьевич. Он — «бунтарь по натуре, — представляет его Яшин. — Он забывает про еду и пиво, как только начинает рассказывать о непорядках в лесу, при этом лицо его бледнеет, глаза блестят и требуют ответа сразу на все вопросы, какие ставит перед ним жизнь. А ездит он широко и знает много». И до всего ему есть дело. Притом человек этот из тех, кто к себе еще требовательней, чем к другим, и живет по совести.

Завязывается остроконфликтный разговор о делах нынешних — о тресте, потом о запчастях, — в котором симпатии А. Яшина да и поддержка райкома партии целиком и полностью на стороне Василия Прокопьевича.

«А с кухни снова зазвенел высокий нестарушечий голос Натальи Семеновны — и полилась песня про князьев да бояров», — здруг перебивает этот спор о жизни ироническая ремарка автора. По всему ходу повествования в «Вологодской свадьбе» видно: активной духовной жизнью, в авторском представлении, живет именно Василий Прокопьевич, а не Наталья Семеновна. Ибо активная духовная жизнь, в представлении А. Яшина, — производное от активности социального характера, от чувства гражданской ответственности, от богатства общественных связей личности с жизнью, с людьми.

И хоть автор «Вологодской свадьбы» относится к своему герою с доброй, неприемной, но несколько иронической усмешкой, характер этот из тех, о ком стихотворение «Век не тот»: «Те же избы, те же печи, так же полон рот забот. Но совсем иные речи: век не тот. Не тот народ!»

А. Яшин был глубоко современен, целомудрен и чист в своей любви к малой и большой родине, к своему Бобришному угору и деревенской России. Он мог улыбнуться забавной обстоятельности и отчужденности вопросов городского собеседника о той же рябине, которой угощал всех, — и тут же устыдиться: «Но вправе ли я был ожидать и тем более требовать, чтобы и этот мой товарищ, у которого свой круг жизненных интересов, отличный от моего, но одинаково важный и нужный,

чтобы и он смотрел на мою рябину так же, как я на нее смотрю? Не было у меня такого права. Значит, неуместна была и моя ирония».

Будучи глубоко национальным по всей своей сути художником, А. Яшин бежал любого отвлеченного доктринерства в понимании народа и народности. Знаменателен его ответ на анкету «Дня поэзии» о народности поэзии, о национальных и классических традициях ее, написанный уже в больнице и начинающийся так:

«Дорогие друзья!

Завтра мне предстоит операция. Насколько я понимаю — трудная. Делать ее будет «сам Б л о х и н», директор института, в котором я сейчас нахожусь, академик. Конечно, я рассчитываю жить и работать вместе с вами еще долго, но это не исключает особой обостренности сегодняшних моих чувств и мыслей о нашем общем деле, что, возможно, скажется и на ответе, потому прошу заранее извинить за всякие перерхлесты.

Так вот насчет народности и традиций в поэзии. Оглядываясь назад, я думаю о том, что мы неправоммерно много тратим времени на ненужные хлопоты...»

Охарактеризовав эти «хлопоты», поставив в их ряд прежде всего «всяческие якобы теоретические изыскания и разговоры о сущности поэзии, путях ее развития, о традициях и народности», А. Яшин продолжал: «Писать надо, друзья мои! Писать о том, о чем хочется и как хочется, и только так писать, как можно полнее. Высказывать себя, свое представление о жизни, свое понимание ее и, конечно, как можно правдивее... Лишь в этом случае можно быть счастливым и достичь в литературе чего-то своего, не изменив ее великим традициям. Только такая работа будет и партийной и народной».

Романтизм критики

Суть этих «ненужных» теоретических «хлопот» и «изысканий» о народности сегодня достаточно ясна. Ныне, пожалуй, риторикой прозвучал бы вопрос Б. Можаява, который он в свое время задавал В. Солухину: «Если вы научились понимать красоту или собирать старинную крестьянскую утварь, вы, стало быть, духовной жизнью обеспечены. А как же быть тогда с такими категориями, как нравственность?..» Прочитав иные критические

статьи последних лет, Б. Можаяев получил бы ответ: нравственность надо искать там же, где и красоту или старинную крестьянскую утварь, — в патриархальных традициях мира деревни.

Более того, по убеждению сторонников этой доктрины, мир патриархальной русской деревни — единственный «исток» красоты и нравственности, духовных и нравственных ценностей современности, крестьянин же, старый, патриархальный крестьянин, — «наиболее нравственно самобытный народный тип».

В согласии с этой доктриной сторонники ее поддерживают в современной литературе о деревне те тенденции, которые утверждают в качестве нравственного идеала некие асоциальные, патриархальные национальные ценности, и критически относятся к социальной прозе о колхозной действительности, овечкинской традиции в ней. В книге «Мужество человечности» М. Лобанов писал: «Одно время наша литература о деревне была активна, так сказать, организационно-хозяйственными предложениями, рекомендациями, что ли. В какой мере такие рекомендации мало подходят для целей литературы, показал опыт работы В. Овечкина, в свое время писавшего страстные, убежденные очерки, которые, однако, вскоре угасли в своей практической актуальности именно из-за узкопрактической своей проблематики».

Эту мысль развили до логического конца Л. Аннинский и В. Кожин в своем критическом диалоге «Мода на простонародность», опубликованном в журнале «Кодры» (Молдавия): «От Троепольского и Овечкина, от Жестева и Калинина, от тогдашнего Тендрякова и тогдашнего Залыгина был деревенской прозе завещан, так сказать, «экономический» анализ человека... Были написаны повести и романы В. Фоменко и Е. Мальцева, С. Крутилина и В. Семина, Ф. Абрамова, П. Проскурина, Е. Дороша... Но событие произошло не здесь. Рядом. Событием стали лиричные сельские рассказы и философские эссе молодых деревенских писателей... На смену трезвому хозяйственнику пришел деревенский мечтатель, лукавый мужичонка, балагур, чудак, мудрец, древний деревенский дед, хранитель столетних традиций...»

Как видите, позиция жесткая и определенная: Овечкин и Крутилин, Жестев и Калинин, Тендряков и Залыгин, Фоменко и Мальцев, Абрамов и Дорош — вся социаль-

ная проза о деревне, по сути дела, выводится за скобки. А Яшин вообще не упоминается. В чем в чем, а в логике авторам этой схемы отказать нельзя.

В полном соответствии с указанной шкалой ценностей литература призывается к освоению «простонародности», а В. Солоухин объявляется ее «своеобразным апостолом», ибо у него «этот пафос становится осознанной философской программой»: «Письма из Русского музея» — вот этот манифест и эта программа, и, конечно, эти письма — куда более значимая веха в нашем духовном развитии, нежели «Владимирские проселки» или «Капля росы», — с уверенностью заявляется в «Кодрах». Почему? Да все потому же: в движении от «Владимирских проселков» к «Письмам из Русского музея» критики усматривают благодетельный отход от социально-экономического анализа деревенской жизни к «поискам позитивных духовных ценностей».

Круг замкнулся! «Диалог» В. Солоухина, начатый в первой половине 60-х годов, завершился диалогом В. Кожина и Л. Аннинского в самом начале 70-х, приобретает черты «осознанной философской программы».

Как видите, эмоциональная реакция на процессы научно-технической революции выросла в по-своему цельную и законченную доктрину, закрепляющую ценности в прошлом, объявляющую «истоком» их патриархальную крестьянскую Русь. Культ патриархальных начал жизни всегда и везде сопрягается с национальной ограниченностью. И в данном случае эта доктрина утверждает социальный и национальный герметизм, социальную и национальную замкнутость и обособленность, социальную и национальную исключительность, исключительность крестьянской патриархальной Руси в качестве исчерпывающего «истока» духовных ценностей. А коль скоро именно деревня с ее консерватизмом и замкнутостью сохраняет в неизменности национальную идею, «национальный дух», город же, промышленность, индустрия, научно-технический прогресс, разрывая национальную замкнутость, убивают «вечные» нравственные ценности и «национальный дух», — эта доктрина неминуемо ведет к противопоставлению деревни городу, к отрицанию научно-технического прогресса.

Нет спору, доктрина эта не является следствием злого умысла разделяющих ее

критиков. Ее объективные корни — все в том же обострившемся противоречии между человеком и природой в век научно-технической революции, о которой уже шла речь выше, в связи с творчеством А. Яшина и В. Белова, В. Солоухина и С. Крутилина. Противоречие, которое решается этими критиками сентиментально-романтически.

Романтический взгляд на прошлое, настоящее и будущее деревни противостоит объективно-естественному развитию народной жизни, а следовательно — и правде в литературе, оборачиваясь в прозе порой голой тенденциозностью, ослабляя иногда и сильных художников. Как показывают факты литературы последнего времени, опасность эта вполне реальна. Ведь еще со времен демократической критики известно, что ложное направление идей ограничивает и самый сильный талант. Критики-романтики усиленно пытаются перевести деревенскую прозу с рельсов реально-социального постижения мира деревни на путь мечтательный, увести ее в сферы элегических сновидений. Олег Михайлов в предисловии к книге В. Лихоносова «Осень в Тамани», только что выпущенной издательством «Современник», — предисловие это называется «С верою в жизнь и легенду», — высказывает надежду, что в последующих произведениях писателя «эти две линии — тяготение к изображению народных характеров и авторская, лирическая мысль о России — соединятся, сольются». Справедливая мысль! Не для доказательства ее критик опирается на такое высказывание В. А. Жуковского: «Там наше могущество, наши многообъемлющие грани, наше государство; здесь наша память о жизни праотцев, наша народная внутренняя жизнь, наша вера, наш язык, все, что собственно наше русское, что никому, кроме нас, принадлежать не может, что нигде, кроме Русской земли, не встретится, чего никто, кроме русского человека, и понять не может». Приведа эти слова, написанные в начале минувшего века, как универсально всеобщие, во всем истинные и для века нынешнего, О. Михайлов заключает: «Да ведь в этом и цель самого Лихоносова-художника...» Верю и надеюсь, что это не совсем так. Верю, что завораживающая магия старинных слов и идей тесна Лихоносову, что она теснит его сердце художника. Верю, что ему известны и другие слова. Скажем, эти:

«Многие у нас уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ...» Слова эти принадлежат Н. В. Гоголю.

...Итак, существуют вполне благородные, возвышенные эмоции, элегические устремления в прошлое вообще, в прошлое русской деревни в особенности, к тем духовным и нравственным ценностям, которые создавались в этом прошлом. И существует реальная жизнь, по естественной и понятной потребности устремленная в будущее, развивающаяся по объективным законам, претерпевающая социальные и технические катаклизмы, гулко отдающиеся во всех сферах человеческого духа, качественно изменяющие психологию, нравственность и быт народа.

Куда уйдешь от этого противоречия, вечного противоречия между действительностью и сентиментально-романтической иллюзией? И можно ли вспомнить в истории пример, когда бы иллюзия — пусть самая благородная, возвышенная, сентиментальная — перебарывала действительность?

Куда уйдешь от того реального, неопровержимого факта, что духовный, нравственный и бытовой уклад старинной русской деревни не свалился с неба, но был следствием экономического уклада крестьянской жизни, следствием патриархальных, натуральных форм хозяйствования на земле... «Не любил крестьянин покупать то, что сам в своем лесу добыть мог, — замечает в рассказе «Вилы» (цикл «Вместе с Пришвиным») Александр Яшин. — Каждый старался сделать для себя и сани, и дуго, и оглобли для телеги, и вилы». Замкнутость, законсервированность натурального хозяйства во многом определяла и эстетику крестьянского быта, весь его неизменный уклад. За последние годы, точнее — десятилетия, уклад этот видоизменился качественно, произошли глубинные изменения в психологии, характерах, изменении не по чьему-то злому умыслу, не по субъективной воле, но в силу глубоких жизненных причин.

И дело не только в том равнодушии, которое мы в сравнительно недавнем прошлом проявляли к судьбам народной красоты, хотя в какой-то степени и в этом тоже.

Дело — в изменении социального, экономического уклада жизни села, в том, что

в деревню — следствие индустриализации и кооперации — пришла техника, машины, электричество, химия, а с другой стороны — следствие культурной революции — радио, газеты, книги, телевидение, кино, всеобщее восьмилетнее, а скоро и десятилетнее образование.

Поставим вопрос резко: что это — благо или беда? Вопрос, конечно же, риторический.

В том, что деревня в послевоенные десятилетия жила скудно, спору нет. Но почему так? Потому ли, что она отошла от патриархального уклада жизни, или потому, что не подошла вплотную к тому, что мы называем индустриальным земледелием?

Вопрос очевидный для каждого, кто не на словах, а на деле думает о материальных, культурных и духовных ценностях современной деревни. Путь тут один: он — в разумной и экономически точной организации социалистического и индустриального земледелия, в современном, научном, индустриальном хозяйствовании на земле. Заинтересован ли кто-либо сегодня в движении вспять, к патриархальному земледелию, к натуральному крестьянскому хозяйству, к сохе и бороне? Едва ли. Во всяком случае, крестьяне-колхозники в этом не заинтересованы.

Механизация работ, если она проводится не на словах, а на деле, не только повышает производительность, а следовательно — достаток, но и облегчает из века нелегкую крестьянскую долю, сводит к минимуму затраты тяжелого физического труда. Трактор отнюдь не убивает поэзии земледельческого труда — напротив: соха да и плуг от зари до зари — это столь непосильная нагрузка, что пахарь или жница в страду не то что птичек да соловьев — света белого не видели.

Так развитие прежде всего экономики деревни вступает в неразрешимый конфликт с теми сентиментально-романтическими настроениями, обращенными в прошлое, о которых шла речь выше.

А какие могучие токи воздействия направлены сегодня извне на молодую, формирующуюся душу! Какая распаханность, открытость пришла на смену прежней замкнутости, герметической законсервированности деревни!

Давайте задумаемся, вникнем со всей серьезностью, что значит для психологии подрастающих в деревне поколений всеоб-

щее восьмилетнее, а вскорости десятилетнее образование, воздействие массовых средств информации — газет, радио, кино и телевидения, влияние книги, которая вошла в быт... А разве так называемый «технический прогресс», который В. Солоухин столь решительно отделил от «духовной культуры», — сложные сельскохозяйственные машины, химия, электричество уже сами по себе не обладают тайной психологического воздействия на человеческую душу? А разве вся атмосфера нашего атомного, технотронного века — хотя бы благодаря могущественности средств информации — не ощутима в самых глухих уголках нашей родины и обходит там стороной сердца и умы людей?

Все эти разнородные и вместе с тем вполне цельные влияния — в деревне, а не только в городе — формируют (я имею в виду тенденцию) вполне современную личность, чьи запросы уже никак не удовлетворишь посиделками или хороводами, какая бы чарующая первозданная поэзия в них ни была заключена.

Возникает неожиданный парадокс: публицисты и критики ратуют за посиделки, обряды, хороводы и прочие милые им приметы патриархального крестьянского быта, а те, о ком они пекутся, жаждут чего-то совсем другого. Они хотят, чтобы в доме были не только радиоприемники, но и телевизор, чтобы после работы идти не на беседу, игрище и посиделки, но в театр или в кино, чтобы по соседству были и парикмахерская, и библиотека, и магазин, спортзал или стадион и многое другое, само собой разумеющееся для горожанина, но подчас недоступное жителю деревни. Более того: они готовы даже отказаться от прославленной русской печи, если в дом проведут не только электричество, но и газ.

Итак, деревня стремится быть городом? Я бы не сказал этого. Деревня стремится к равенству с городом в культуре, быте, жизни и труде. Как можно, да еще из самых добрых побуждений, отказывать ей в этом? Как можно навязывать ей те формы культуры и быта, которые родились в далеком прошлом и в ту пору годились, а теперь стали тесны? Пусть уж она сама в естественном движении жизни отберет и возьмет с собой, переосмыслив, переварив, все то из старого уклада быта, что жизненно, а не мертво.

И еще один вовсе не праздный вопрос: так ли уж в этом старом укладе жизни на-

шей деревни все было хорошо? И что же все-таки реально это был за уклад?

Некоторые наши критяки, например А. Ланщиков считает (см. его статью «Земля и прогресс» — альманах «Кубань», 1971, № 10), будто в деревне и сейчас еще идет «ломка старого (во многом еще патриархального) уклада жизни, ломка не только отдельных его черт, но и всей его основы» (разрядка наша.— Ф. К.). Он полагает, что патриархальность и по сегодняшний день составляет во многом основу уклада жизни наших деревни. «Мы очень охотно ругаем нынче патриархальность, и слово это в нашей практике приобрело заведомо бранный характер,— утверждает он.— Но здесь все не так просто, как может показаться с первого взгляда... Говоря о патриархальном укладе, мы сплошь и рядом забываем, что в нем воплотились многовековые чаяния, нравственный и духовный опыт трудового класса, что именно он, а не какой-либо другой уклад обеспечивал этому классу жизнестойкость в самых трудных жизненных ситуациях...»

Правильно ли считать, что только сегодня ломаются основы старого, во многом патриархального уклада деревенской жизни и что в этом состоит суть революционного переворота, совершающегося в современной деревне?.. И в таком разе — что такое патриархальность, которой придают столь серьезное и такое положительное значение иные наши публицисты и критяки?

С точки зрения научной патриархальность — это не что иное, как такой экономический, бытовой и нравственный уклад жизни в деревне, который был связан прежде всего, как уже отмечалось выше, с натуральным крестьянским хозяйством. Патриархальный уклад жизни в деревне — буржуазный ее уклад, ничего иного тут не придумаешь. Судьба его была решена еще сто лет назад — крестьянской реформой 1861 года.

Воюя с «предрассудками старого русского самобытничества», Ленин предостерегал прежде всего от ошибочности и нелепости «представления о крестьянстве, как каком-то солидарном внутри себя и однородном целом», на огромном фактическом материале демонстрируя «разложение некогда равных, патриархальных непосредственных производителей на богатеев и бедноту». Он отмечал в связи с этим и глубинные изменения в крестьянской психологии и нравственности: «Раз крестьянин становит-

ся товарным производителем (а таковыми стали уже все крестьяне), то «нравственность» его неизбежно уже будет «основана на рубле», и винить его за это не приходится, так как самые условия жизни заставляют ловить этот рубль всяческими торговыми ухищрениями». Тут Ленин делает сноску: «Ср. Успенского», имея в виду такие произведения пронизательнейшего бытописателя и исследователя мира русской деревни Г. И. Успенского, как «Книжка чеков», «Письма с дороги», «Непорванные связи», «Живые цифры» и т. д. В этих произведениях писателя-народника, отдавшего свой талант русскому крестьянству, мы находим убедительные художественные и документальные свидетельства капитализации дореволюционной русской деревни, беспощадно рассеивающие тот розовый флер патриархальности, которым окутывали деревню сентиментальные романтики.

«Сентиментальные романтики» — термин ленинский. Так определял он в 90-х годах прошлого века тех, кто не видел качественно новых, товарных отношений в русской деревне и продолжал считать ее патриархальной, кто противился естественным процессам развития деревенской жизни и ориентировал деревню не вперед, а назад, в прошлое. Называя такого рода позицию «реакционным романтизмом», В. И. Ленин писал: «...под этим термином разумеется не желание восстановить просто-напросто средневековые учреждения, а именно попытка мерить новое общество на старый патриархальный аршин, именно желание искать образца в старых, совершенно не соответствующих изменившимся экономическим условиям порядкак и традициях».

Заметьте: Ленин называл «реакционными романтиками» народников 90-х годов XIX века за то, что они пытались «новое», то есть буржуазное (!) общество мерить на старый, патриархальный аршин, искать образцы в старых, патриархальных порядках и традициях, не соответствующих буржуазным, капиталистическим условиям жизни деревни. Современные «любители» «истоков» пытаются социалистическую деревню, да еще в век научно-технической революции, мерить на тот же старый, патриархальный аршин, колхозника 70-х годов XX века уложить в рамки розовых патриархальных мечтаний!.. Какова же степень этого «романтизма»?!

Кстати, почему патриархальные мечтания

«розовые»? Они не были таковыми даже в сравнении с черной действительностью капитализма!

Ленин с его предельным уважением и сочувствием к трудящемуся народу, к народной, крестьянской нравственности, к ценностям, созданным веками труда на земле, когда «культура,— как писал он,— была в руках крестьян», резко критически тем не менее смотрел на патриархальную жизнь деревни.

Нет спору, многовековой труд крестьянина на земле, когда работали «равные, патриархальные непосредственные производители» (Ленин), вырабатывал свою, крестьянскую цивилизацию, свою нравственность и красоту, об этом мы говорили выше. Но позиция крестьянского труда уживалась, как известно, с безграмотностью, темнотой, забитостью и приниженностью русского крестьянина.

Ленин многократно вспоминает щедринское сопоставление патриархального крестьянина «с забитым и задавленным... конягой». В патриархальном укладе жизни, пишет он, «выступают уже в чистом виде реакционные черты мелкого производителя, его забитость, заставляющая его верить в то, что ему навеки суждена «святая обязанность» быть конягой; его «завещанный от отцов и дедов» сервиллизм». Но что такое сервиллизм? Та самая рабья психология, о которой с такой горечью писали еще Герцен и Чернышевский. Ленин объясняет эту черту крестьянской патриархальной психологии экономическими условиями его существования: «...Его привязанность к отдельному крохотному хозяйству... которое, вследствие низкой производительности труда и прикрепления трудящегося к одному месту, делает его дикарем»,— вот что «силою одних уже хозяйственных условий необходимо порождает его забитость и сервиллизм».

Ленин последовательно разоблачал не только идеализацию патриархального сознания, но и «сентиментальные разговоры о предпочтительности системы патриархальной эксплуатации земли», называя эту си-

стему «крепостнической эксплуатацией крестьянства в самых грубых, азиатских формах». Он характеризовал сентиментальный романтизм позднего народничества как навивную попытку «задержать все общественное развитие ради сохранения патриархальных отношений полудикого населения».

По убеждению В. И. Ленина, не движение вспять, но общественное развитие вперед, к социализму отвечает коренным, глубинным чаяниям крестьянских масс. Уже после победы Октябрьской социалистической революции он считал самой первой задачей «показать крестьянам, что организация промышленности на современной высшей технической базе, на базе электрификации, которая свяжет город и деревню, покончит с разницей между городом и деревней, даст возможность культурно поднять деревню, победить даже в самых глухих углах отсталость, темноту, нищету, болезни и одичание».

Так, с ленинской точки зрения, обстоит дело с патриархальностью. И конечно же, сами попытки не просто идеализировать патриархальный уклад жизни в деревне, но еще и искать его— днем с фонарем — в современной действительности, утверждать его чуть ли не «основой» современного уклада жизни социалистической деревни и ее нравственным идеалом — величайшая сентиментально-романтическая нелепица.

Разве можно с позиций патриархальности понять, осмыслить те процессы жизни, которые происходят в деревне 70-х годов XX века?!

Эстетическое освоение и социально-философское осмысление того гигантского, ни с чем не сравнимого ранее переворота, который переживает наша деревня в условиях социальной и научно-технической революции,— историческая задача современной прозы. Однако разговор о том, насколько успешно эта задача в нашей литературе решается,— это тема другой уже работы, осуществить которую мы надеемся в недалекие сроки.

